

Борис ГОРБЕВ

Проблема Александра Еременко

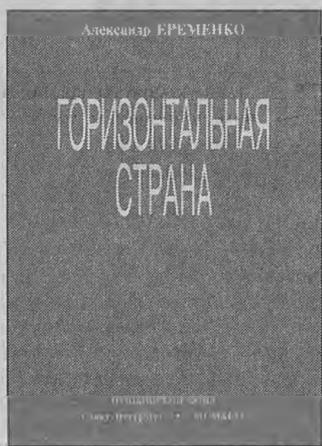
В петербургском издательстве «Пушкинский фонд» вышла книга стихов «Горизонтальная страна». Ее автор хорошо известен многим любителям поэзии. Однако вот уже почти десятилетие Александра Еременко будто не существует в литературном процессе. Его имя не встретишь ни в «толстых» журналах, ни в премиальных «листах», ни в бесчисленных «рейтингах». Что произошло?

Павел БАСИНСКИЙ

О Господи, я твой случайный зритель...

Стих, вынесенный в эпиграф, звучит не характерно для Александра Еременко. Не в его натуре этот условный лирический пафос, прямое обращение поэта к Творцу. Тем более не в его вкусе это поэтическое смиренномудрие: «О Господи, я твой...» В Александре Еременко привыкли видеть если не хулигана, который издевался над советскими классиками, подбрасывал в небо женщин и пил с Мандельштамом на Курской дуге, то, безусловно, поэтического бунтаря и радикала. Да и общественные взгляды Еременко всегда, сколько я помню, были демонстративно «левыми», то есть, по нынешнему, «правыми».

Разобраться в его религиозных воззрениях на основании одних стихов нет никакой возможности. Местами встречаются намеки на увлечение индийской метафизикой... Вообразить его лирического героя в толпе, например, кришнаитов, конечно, можно, но только поместив картинку в соответственный контекст: ну, скажем, в пацифистский митинг, разгоняемый милицией. По окончании митинга герой выйдет из толпы, чтобы снова оказаться в толпе. На этот раз в ресторанной.



*Когда я с бутылкой «Массандры»
иду через весь ресторан,
весь пьян, как воздушный десантник,
и ловок, как горный баран,*

*все пальцами тычут мне в спину
и шепот водогонку летит...*

Нет ресторана? Не беда!

*Пью за свободу с другом, не один...
за мир, и дружбу, за свердловский рок!*

Лирический герой Еременко никогда не оставался до такой степени одинок, чтобы спокойно предаваться медитации и обращаться с молитвой к Творцу. Он нуждался в «мире». И даже грубее: он нуждался в поклонниках. Если и не в стадионах, то, по крайней мере, в чутком дружеском кругу, где он мог быть первым среди равных, эдаким поручиком Ржевским (не из анекдотов – из фильма «Гусарская баллада»), эдаким Сильвио до дуэли. И недаром он любил Высоцкого:

*Я заметил, что, сколько ни пью,
все равно выхожу из запоя.
Я заметил, что нас было двое.
Я еще постою на краю.*

С Высоцким, несмотря на астрономическую разницу в количестве поклонников, его роднит вот этот врожденный демократический аристократизм, который прекрасно выразил Христос в ответе Пилату. «Ты царь Иудейский?» – «Ты говоришь». То есть ты сам это видишь, я, между прочим, в цари не навязываюсь.

Вспоминаю трогательный случай начала 80-х годов. Среди студентов Литинститута прокатился слух, будто Еременко будет читать стихи в филиале МХАТа на Тверском бульваре. Вечером там собралась небольшая толпа почему-то возле черного входа. Туда же подошел и Еременко. В театр нас не пустили – не по чину. Стихи чудесно звучали во дворе...

Этим он и покорял, но этим и раздражал. Покорял студенческие собрания восьмидесятых, где блистали «метаметафористы» (так с подачи Константа Кедрова называли Жданова, Еременко и Парщикова) и где он шел «отдельным номером».

Я добрый, красивый, хороший...

Я мастер по ремонту крокодилов...

Я пил с Мандельштамом на Курской дуге...

Последняя строчка особенно запомнилась. Если не воспринимать ее в качестве красной тряпочки, но оценить с позиции смыслового и музыкального ряда, то окажется, что Еременко нашел идеальный вариант диалога с любимым поэтом. Где же еще, скажите на милость, можно им встретиться, как не посредине XX века? В «Бродячей собаке»? В ЦДЛе брежневской эпохи? И то, и другое вот именно бред, фальшь и нелепость. Нужна какая-то нейтральная территория, где было бы не стыдно поболтать поэтам. Лучше Курской дуги, в окопе, за кружкой водки места не сыскать. Разумеется, если не понимать это буквально. «Ты пил с Мандельштамом на Курской дуге?» – «Ты говоришь».

В Еременко никогда не было андеградного надрыва и расхристанности. Даже в своей обычной тельняшке он выходил к публике как бы «с иголочки», во многом предвосхитив стиль и драйв современной постмодернистской культуры с ее ироничностью, ненавязчивостью, антипафосностью. Но и в страшном сне нельзя представить, чтобы его лирический герой стал говорящей мордой головы в телевизоре, уподобившись бессмысленным дубровым, конегенам, парфеновым. Тем более нельзя представить, чтобы он нормально пристроился в американском университете и сочинял крутые концептуалистские стихи в свободное время. И уж совсем невозможно вообразить, чтобы он, задрав штаны, бежал за комсомолом в какой-нибудь «Коммерсант», в гляцевые издания или, предположим, в «паблик рилэйшн». Драйв-то драйвом, но поэтическая свобода дороже...

Его лирический персонаж всегда поступал «по щучьему велению, по моему хотению». Он жил, а не выживал.

*В начале восьмого с похмелья болит
голова...*

*Люблю тебя, жизнь, будь ты проклята
снова и снова.*

Время декламирует свое:

*Будь, поэт, предельно честен.
Будь, поэт, предельно сжатым.
Напиши для нас в «Известиях»
для народных депутатов...*

А Ерема талдычит свое:

*Решительный, выбритый, быстрый,
сбравший все нервы в комок,
я мог бы работать министром,
командовать крейсерам мог.*

*Я вам называю примеры:
я делать умею аборт,
читаю на память Гомера
и дважды сажал самолет.*

*В одном я повинен, но сразу
открыто о том говорю:
я в космосе не был ни разу,
и то потому, что курю...*

Ну разве может такой чудо-молодец согласиться на выживание? Это он-то, который ради космоса не поступил бы обыкновенной сигаретой!

Помню, на одном публичном диспуте в «Литературной газете», где схлестнулись шестидесятники с восьмидесятниками, Евгений Евтушенко, видимо, рассудив, что Еременко с его тельняшкой и легкой пьянотой в голосе пришел в поэзию откуда-то из блатного мира, гордо заметил: я, мол, тоже умею по фене ботать. На это Еременко мгновенно возразил: а я вот как раз и не ботаю. Отнюдь.

И здесь не смогли его схватить за руку! И здесь он внезапно открыл какой-то запасной выход и вышел, оставив Евтушенко наедине с этой дурацкой Феней. Потому что лирический персонаж Еременко ничего не делал тоже. Обратите внимание: он и самолет сажал совсем не так, как (представим невозможное) его посадил бы случайный пассажир.

Он сажал его... дважды.

И это не было капризом. Не было поэзией. Говоря словами поэта, его герой был «как вбитый гвоздь... заподлицо вколоченный в свободу...».

*Не выправить пьяного жеста,
включенного, как метроном...*

И не в том дело, что жест пьяный, но в том, что этот жест нельзя «выправить», как нельзя «выправить» стихи...

*Как замеряют рост идущим на войну,
как ходит взад-вперед рейсшина
параллельно,
так этот длинный взгляд, приделанный
к окну,
поддерживает мир по принципу
кронштейна...*

*...Поддерживает мир. Чтоб плоскость
городов
держалась на весу как жесткая система.
Пустой кинотеатр. И днище гастронома.
И веток метроном, забытый между стен.*

О чем эти строки? Ни о чем? Просто картинка, нанизанная на чей-то взгляд... Но она так сделана, что нельзя поправить в ней и штриха без того, чтобы вся картинка не рассыпалась...

Как выправить вот это:

*сгорая, спирт похож на пионерку,
которая волнуется, когда
перед костром, сгорая от стыда,
завязывает галстук на примерку?*

Или что с этим сделать:

*В густых металлургических лесах,
где шел процесс создания хлорофилла,
сорвался лист. Уж осень наступила
в густых металлургических лесах?*

Последние строки в свое время часто цитировались как образец поэтического абсурда и бессмыслицы. Какие металлургические леса? Какой хлорофилл? Наморщив лбы, социально озбоченные литераторы называли Еременко иронистом. Как будто это что-то объясняло! Как будто поэзия когда-либо нуждалась в каких-то объяснениях! За лесами, да еще и металлургическими не видели одинокого сорвавшегося листа, волшебно кружащегося в замедленном полете.

*Там до весны завязли в небесах
и бензовоз, и мушка дроздофила.
Их жмет по равнодействующей сила,
они застряли в сплюснутых часах.*

*Последний филин сломан и распилен.
И, кнопкой канцелярской припилен
к осенней ветке книзу головой,*

*висит и размышляет головой:
зачем в него такой ужасной силой
вмонтирован бинокль полевой!*

Самое поразительное, что при всей своей будто бы абсурдности поэтический мир Еременко гораздо точнее и строже, нежели тот, где:

...сегодняшний бред обнажает клыки.

В поэтическом мире Еременко чисто и проветрено, как в доме хорошей хозяйки или на боевом корабле. Здесь нет грязи, которая, по определению, есть «материя не на своем месте». Его Муза похожа на ненормальную девочку из одного стихотворения, но сбоку этой девочки:

*...непреднамеренно хипповая,
свисает сумка с инструментами,
в которых дрель уже не новая.
И вот, как будто полоумная
(хотя вообще она дебильная),
она по боликам половым
проводит стершимся напильником...*

О порядке печется! Она...

*не допустит, чтоб навек
в осадок выпали, как сода,
непросвещенная природа
и возмущенный человек!*

Но мир тем не менее выпадает и выпадает в осадок. Побеждает вселенская энтропия, и «демократ» Александр Еременко неожиданно аукается не с Константином Кедровым, а с Константином Леонтьевым:

*Осыпается сложного леса пустая
прозрачная схема.
Шелестит по краям и приходит
в негодность листва.
Вдоль дороги пустой провисает
неслышная лемма
телеграфных прямых, от которых болит
голова.
Разрушается воздух. Нарушаются
длинные связи
между контуром и неудавшимся смыслом
цветка...*

Поэзия подобна ласточке. Траектория ее полета непредсказуема, но все ее движения осмыслены и подчинены строгой внутренней задаче. Подобно игле, она латает распавшиеся «длинные связи», но лишь до поры, пока сама материя выдерживает латание. Покуда игла не начинает снова в пустоте...

*В глуши коленчатого вала,
в коленной чашечке кривой
пустая ласточка летала
по возмутительной кривой...
И вылетала из лекала
в том месте, где она хотела,
но ничего не извлекала
ни из чего, там, где летела...*

В одном из последних стихотворений в книге побеждает другой мотив движения – бессмысленное скольжение по замкнутому Садовому кольцу:

*Мы поедим с тобой на А и на Б
мимо цирка и речки, завернутой в медь,
где на Трубной, вернее сказать,
на Трубе,
кто упал, кто пропал, кто остался сидеть.*

*Мимо темной «России», дизайна, такси,
мимо мрачных «Известий», где воздух
речист...*

Мимо Герцена – кругом идет голова...

Мимо Пушкина, мимо... куда нас несет...

Куда? Зачем? В поисках какого запасного выхода? И есть ли он в «горизонтальной стране», сделавшей горизонтальный выбор? Я не знаю ответа на этот вопрос. Но я знаю (вернее, чувствую), что молчание Еременко каким-то образом рифмуется с молчанием многих сердец. Это не только его проблема. Ах, если бы это была только его проблема!